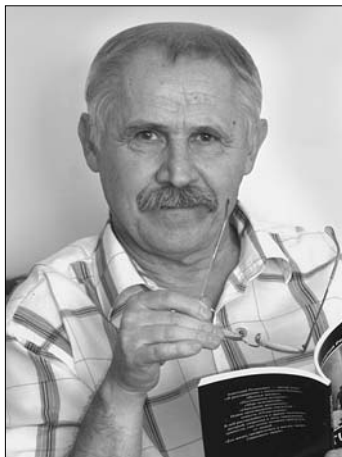


ГЕОРГИЙ МАРЧУК



МАРТОЧКА

РАССКАЗЫ

Сегодня день независимости Украины. Уже, пожалуй, года четыре как меня не приглашают на этот национальный праздник в посольство Украины. И мечтать нечего, забыли. Каждый новый посол — исхожу из собственных наблюдений — по приезде в нашу страну собирает вокруг себя свой бомонд. Кое-какая мизерная информация о жизни страны-соседки, безусловно, доходит. Но это в основном экономико-политические вести. О культуре, литературе, искусстве — гробовое молчание на всех телеканалах. Это минус и белорусского телевидения. Восхищаясь и популяризируя где только можно, как только можно творчество великих художников эпохи Возрождения в Европе и не менее великих художников-передвижников XIX века в России, ...я не знаю творчество великого украинского художника, моего современника, академика Ивана Марчука. Ведь мы, выходит, дети одного родового древа. стыдно, спросите вы? Да, стыдно. Охватить житие и творчество всех талантливых художников, равно как и талантливых писателей, композиторов невозможно. Понимаю с некоторой долей огорчения, как мало успевает человек напитать себя красотой за жизнь, но ведь украинский художник особая забота... Из Марчуков, может, ровенских, как мой украинский дед Илья. Впрочем, этот стыд ещё подлежит исправлению, смягчению. Он ещё не приближен к греху. А вот что делать с глубинным стыдом, который временами будоражит память и возвращает к не всегда радужным воспоминаниям? Не-

МАРЧУК Георгий Васильевич родился в 1947 г. в Давид-Городке Брестской области. Окончил Белорусский театрально-художественный институт и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Прозаик и драматург. Автор многих книг прозы и пьес. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Секретарь правления Союза писателей Беларуси. Живет в Минске.

даром ещё Зевс говорил, что стыд и совесть — основополагающие начала духовного саморазвития... об этом греки пишут в своих мифах.

Итак, возвращаемся в юность. Давид-Городок, моё провинциальное местечко, 1962 год. Ах ты, опьяняющая, очаровывающая свободой, удовлетворением простых житейских желаний — рыбалка, кино, танцы, игра в карты, футбол, теннис, снова рыбалка — летняя пора! Ах ты, ожидание сладкого предчувствия первых поцелуев, радость от аплодисментов на концерте в клубе! Ах ты, счастье молодости — пора каникул! Кажется, это насыщение души радостями жизни и самой жизнью как таковой будет безоблачно всегда и неизменно длиться долго, долго. Никто ещё из нас, подростков, не понимает и не пытается осмыслить слова “тяжёлая болезнь”, “старость”, “одиночество”. Но они идут рядом, просто мы их не замечаем до поры.

У моего деда была такого же небольшого росточка, подвижная, с каким-то треугольным носом на широком скуластом лице сестра Марта. Из-за этого малого роста её иначе, как Марточка, в городке и не звали. Мне было пятнадцать лет, ей семьдесят. Жила она с сыном, золотых дел мастером, который самостоятельно выучился прекрасно играть на мандолине. Он с двоюродным братом моего деда, местным художником Борисом, который тоже самостоятельно освоил гитару, часто удивляли по праздникам всю нашу улицу и прилегающие к ней переулки праздником русских, итальянских и польских мелодий. Имея дело с золотом, сын Марточки подвергался искушению... То ли вёл незаконную торговлю, то ли проворачивал иные махинации с золотишком да серебром. При социализме со спекулянтами обходились круто. Побыл он в тюрьме недолго. Вернулся совсем больным, сильно запыл и с трудом возвращался к своей редкой профессии.

Пенсию по старости Марточка не получала, не было тогда ещё такого закона. Нищенствовали, годами Марточка не покупала обновки. Занималась мелкой торговлей, как, впрочем, и все люди её века, продавала семена цветов да лук с чесноком. Часто брала небольшие суммы на хлеб, сахар, соль, макароны в долг, затем снова одалживала у родни и возвращала долги соседям. От голодной смерти её с сыном спасали козы, которые были почему-то очень назойливы — до агрессивности... и, случалось, преследовали меня по переулку метров тридцать-пятьдесят. Они паслись на лужайке перед хатой Марточки и были привязаны к кольям на длинных-предлинных веревках. В отличие от своей хозяйки, козы были злые. Марточка имела общительный характер, останавливалась с каждым и могла подолгу судачить обо всех. Не предмет разговора был для неё важен, а субъект, человек, с которым она с видимым удовольствием беседовала.

На свое несчастье, Марточка как-то внезапно ослепла. Вернее будет сказать — почти ослепла. С постоянной палкой в руке, в замусоленной, возможно, довоенной ещё серой юбке, в зелёном жакете не по росту с заплатками на локтях, она по привычке продолжала выходить в город, на базар, к церкви. Наша центральная улица одна из немногих была несколько опасна для пешеходов. Марточке, чтобы попасть в церковь, необходимо было перейти центральную в районе кинотеатра “Заря” и Доски почёта — это центр города, любимое место тусовки для нас, подростков. За Доской почёта — парк с вековыми тополями, за кинотеатром — базар, чайная, рядом — пожарная вышка с пятиэтажный дом.

Завидев приближающуюся Марточку, мы отходили в сторону от перехода, потому как никому не хотелось, тем более под руку, переводить бабушку на противоположную сторону улицы. Стеснялись. Марточка, случалось, пускалась на хитрость. “Хлопчык, хлопчык, ходзі сюды! Нещо скажу тебе”. Как только кто-то из нас подходил к ней близко, она тотчас хватала его за локоть и уже не отпускала. Руки у неё были сильные. “Перавядз мяне, хлопце, на той бок, до царквы”, — просила она. И “жертве” ничего не оставалось делать, как исполнить её просьбу. Один раз на её уловку попался и я. Она ухватила меня за руку. Я почему-то очень покраснел. Хлопцы подтрунивали.

— Чый ты? — спросила она неожиданно.

— Осколка Змитра унук.

— Жорык! — обрадовалась она. — Які ты ужэ вялікі вырос. Слава Богу. Мамочку успомінаеш? Молодой пошла. Я плачу, плачу по ёй. У царкве памалюся. Золотэ сэрцэ было. Скажы деду, що я тры рублі у суботу прынясу.

— Добрэ, скажу, — мне не терпелось поскорее вырвать свой локоть из её руки.

К церкви её не стал провожать, решил не возвращаться и к своей компании. Поднимут на смех.

“Ну, як твоя дзеўка Марточка? Добрэ погуляў?” Такой издёвкой мы всегда встречали провожатых. Через несколько дней опять возле чайной появилась Марточка и, постукивая перед собой палочкой, направилась в нашу сторону. Все мы, и я в том числе, быстро ретировались и перешли к Доске почёта. Минут десять она стояла одна у кинотеатра, не решаясь самостоятельно перейти улицу, пока её одна сердобольная женщина не перевела на другую сторону. Я даже не задумывался над вопросом, почему я, её кровный родственник, не помог почти слепой тёте Марточке? Почему? Через год я заболел туберкулёзом, и началось моё почти двухлетнее скитание по диспансерам и санаториям. Может, меня за мою чёрствость Господь наказал. Ведь к туберкулёзникам с опаской надо подходить, их обычно обходят стороной, стараясь держаться подальше от палочки Коха. Я избегал старой Марточки, брезговал... Так вот получи сам: и тебя будут обходить стороной...

Ещё через год я навсегда покинул Давид-Городок. Умер сын Марточки. Тюрьма, болезнь, алкоголь до времени свели в могилу талантливого самоучку. Марточка совсем ослепла. Вскоре из Польши воротилась в родную старенькую, с одной большой комнатой, с дырявой крышей хатку родная дочь Марточки Софья, такая же худенькая и подвижная, улыбочивая и открытая, как и мать. “У Польшчы лепш як у нас. Чого ты ехала?” — недоумевали соседи.

— Маму шкода... Сляпы ж человек. Доглядац трэба, — спокойно отвечала Соня.

Я хоть и очень редко, но по случаю навещался в родной городок, но не у кого было просить прощения. Марточка умерла. И вот я подхожу к её годам. Медленно, но неотвратимо и у меня слепнут глаза, по капельке нетнет, да горьким комом сдавит горло, укрупняя морщины, воспоминание стыд. Укоряю сам себя. До слёз бередит душу этот стыд. словно какой-то знак из космоса.

Прости, Марта Михайловна.

ПЕЧАЛЬ

Расскажу, что случилось однажды в нашем местечке. Здесь живёт то ли шесть, то ли семь тысяч человек. Многие работают на молочном заводе, кто-то выбился в учителя, кто-то стал врачом, а некоторые нашли тёплое место при харчах, в чайной. В местечке есть церковь, библиотека, четыре продуктовых магазина и универмаг, выкрашенный почему-то в ярко-синий цвет. Ездят люди по брусчатке ещё с польских времён на велосипедах и на машинах, но больше любят ходить пешком. Ставят в огородах теплицы да возят по миру огурцы, свёклу, помидоры, вяленую рыбу, бобы и картошку. С этого и живут. Вдали от революций, природных катаклизмов и финансовых пирамид.

В этих местах селиться, кроме разве что цыган, особо никто не торопится. Нет работы. Если же учитель не устроился в большом городе, то уж здесь наверняка найдёт и кров, и неплохой по местным меркам заработок. Лет тридцать или сорок тому назад в местечке был даже свой духовой оркестр. Да вот только руководитель, всех научивший играть на разных инструментах, начал изрядно пить. Нельзя сказать, чтобы в местечке было уж очень много любителей этой заразы, — здесь женщины вышивох терпеть не могут. Однако вслед за дирижёром втянулись и другие, да вскоре и поумирали.

Остался только Иван Иосифович, у которого были две статные, красивые дочери и которыми он очень уж гордился.

Иосифович в праздники — так было у него заведено — шёл в церковь. Многие мужчины посещают церковь, чтобы просто в воскресенье пройтись по городу. В Бога верят обычно женщины — истово молятся. Иван Иосифович ходил ещё и для того, чтобы послушать в церкви певчих. Тянуло его к музыке. Да разве его одного! Когда расходились люди по домам, неся в бутылках и банках святую воду, частенько можно было услышать: “Ой, как хорошо спевают наши певчьи! Нигде в раёне таких няма. От ужо Вера малайчына так малайчына, що ужо тут казать”.

Вера Мозоль служила регентом маленького хора певчих, которых она ещё лет пятьдесят назад искала, а потом агитировала и уговаривала, и учила. Вере Федосовне Мозоль пошёл девяносто первый год. Женщины в местечке живут, слава Богу, долго. Пятьдесят из этих девяноста она и служила регентом. Все остальные участники были помоложе. Но особую дружбу она водила с шестидесятилетней Надей Лагун. Очень давно, когда ещё в Доме культуры была самодеятельность, они — пятидесятилетняя Вера и двадцатилетняя Надя — пели дуэтом народные песни, больше русские да белорусские. С той поры и подружились. Даже не то чтобы подружились, а просто сблизилась: Вера крестила единственную дочь Нади, а Надя шила для Веры и её детей верхнюю одежду: юбки да рубахи. После службы, когда все расходились, они обычно ещё долго стояли у церкви, о чём-то говорили, потом шли по берегу реки — Надя провожала Веру домой. Собственно говоря, провожать не было нужды: Вера — подвижная, энергичная — неслась вперёд, а Надя — на голову выше, долговязая, угловатая — едва поспевала за шустрой Верой. Да все спрашивала: “Щчо ты робишь? Щчо ты, Вера, еси, шчо не старэш? Я нешто и сивая вся, и нос пашырав, и нейкия плямы на кожи, да лапики под очами — баюся в зэркало глядзеть”, — обеспокоенно так спрашивала.

“Щчо вжэ Бог дае. Радуюся кожнаму дню. Людям зла не раблю и не завидую никому”, — с улыбкой отвечала Вера. Вот здесь она попадала в самую точку: нет-нет, да и кольнет Надю зависть к старшей подруге. Случается, идут они по улице, а от встречных только и слышно: “Здравствуйте, Вера Федосовна”. А ещё Вера никогда не хвалила Надю. Другим доброе слово скажет: “Хорашэ спявали”. А Нади будто и нет. А сама Надя тоже была с гонором, ни о чём не спрашивала. Сблизило их горе общее. Внезапно умер муж Нади — собирался на рыбалку, встал рано, в груди горело и ныло, однако пошёл... В лодке и умер. А через неделю угас и муж Веры. И на кладбище их могилы были рядом. Вера — та на людях не убивалась: “Так Богу вгодно, мне адмерил больш”. А Надя — он был у неё вторым, первый подался когда-то на целину и пропал — затосковала. Искала предлоги, толклась на базаре, чтобы по позже возвращаться домой... а лучше только на ночь. Сама себе говорила: “От добрэ, шчо помер улетку, прыдзе довжэзная зима, трохи забудзэцца всэ”. Она начала внимательнее присматриваться к тому, как Вера руководит хором певчих. Ей вдруг захотелось и самой стать регентом. А то вдруг Вера передаст Соне или Любе Цубер своё место... Тогда, может статься, она и покінет хор... Да чтобы она, моложе лет на десять-двадцать, и вдруг верховодили?... И начала она внимательно перечитывать Евангелие, больше прислушиваться к Вериним советам, которые та охотно давала, беседуя с людьми возле магазинов или церкви.

Одна хвалится: “Моя раскошница оденет новую сукенку и круцицца перад зэркалом повдня, и есьц и п’е перад зэркалом”.

— От гэто не трэба робиць, — говорит в ответ Вера Федосовна.

— Почему? — интересуется болтуня.

— Бо чорт, яки сядзиць за зэркалом, украдзе красоту и здорв’е! Няхай не робиць так.

— От добрэ, шчо попярэдзила, — соглашается женщина.

А то еще, случалось, спрашивали:

— А як проверыць ці такога, як трэба было, Бог паслав мне чловека?

— Просто. Коли в другой жыцци згодна з ім знов пражыць жыццё, то значыцца твай...

Надя в думала-гадала: і откуда у неё всё берётся? Ведь работала до пенсии простым бухгалтером... А разум Бог дал.

— А без Бога можна, Вера Федосовна, жыцци? — ещё кто-нибудь спросит.

— Можна, и наших багато жыве. Але з Богам спакойней и надежды больше.

— Тоска нападае, — сказала Надя.

— Веселицца як дурень не будзеш кожны дзень. Радовацца жыццю можна кожны дзень. Прыглядайся да всяго жывога... да курана, да кошачки. Я вчора мо повгаздыны глядила саломінай па галовке маленькую жабку. Нейкі цуд. Куды не кинеш оком — всюды чудо и радасць жыцци.

Вот отчего Надя и взялась читать Евангелие. Вера позвонила вечером: “Прыходзь”. Голос был тихий, странный. Опротметью бросилась Надя к хате над рекой. Вера лежала на кровати у окна.

— Сябровачка мая, Гасподзь прызвае. Вчора яшчэ кали святковали Макавей... раптам зямля вакол мяне закружылася, не я вакол яе, а яна вакол мяне. Памираць буду.

— Гасподзь з тобой, не пугай так, — Надя перекрестилась.

— Слухай... кали не сёння в начы... дзень, два... чловека прыснився. Кажа, Вера, што ты там заседзела. Не магу я тут адзін. Прыходзь.

— А мой мне николи не сніцца.

— Дык вось. Коб ховали як всіх наших. Ты станеш на мае месца. Ля маёй галавы. Сачы за бацюшкам. Ён кали што знак падасць. Коб спявалі без слёз. У певчых доля такая — не плакаць.

— То вжэ ж ведаем. Шчо загадаеш, все зраблю, — соглашалась Надя.

— Шалик мне на шыю... што нявестка колись падарыла, повязашь. Люба любіць вырывацца... сачы, коб усе в гармоніі, ровна. Камертон вазьми. Навука не хитрая. Схопіш. Цоловацца не будзем... а то яшчэ дзень-два бог дасць пожыць... дык будзем адно шчодня цоловацца, — по губам пробежала лёгкая усмешка. — Дай руку.

Надя протянула подруге руку и почувствовала необычно-неприятный холод — как зимой. Попрошались. Вера угадала. Умерла не ночью, а на рассвете... когда солнышко заглянуло в её окно. Хоронил Веру Федосовну весь городок. Надя распорядилась, как и велела покойная. Началась панихида. Певчие, поскольку Надя встала на место Веры, ждали её знака: взмаха руки. Она так и сделала. Запели. Все, кроме Нади. Какая-то невидимая сила сдавила горло, и она будто онемела. Пропал голос. Пропели и на кладбище, но то же самое с голосом у Нади повторилось. Певчие, хоть и заметили Надино молчание, однако же простили: такая тяжёлая минута, что даже священник, у которого никто никогда не видел слёз, всплакнул. Почти всю ночь Надя не спала, ворочалась, молилась перед иконой Божьей матери, опять ложилась, а сон всё не шёл. С нетерпением, как никогда, прямо сама себе удивлялась, ждала, когда опять будет покойник. Через три дня умер старый Бегла. Не пла, а бегом бежала в церковь. И опять всё повторилось. Голоса не было. Не смогла петь. Изо дня в день она укоряла себя. На девятый день пошла к Вере, поплакала: “Даруй, прости... мо то я надштурхнула да цябе смерць”. Ссылаясь на хворь горла, больше в хор певчих не ходила.

Дочь уговорила мать переехать в город Петриков. Внучка уже подросла. Надо было отдавать в первый класс. Продали хату. И Надя покинула местечко. Теперь у неё была одна забота — забирать после уроков внучку из школы. Она выходила из хаты утром. Садилась на берегу реки, возле школы, в которой детский хор дружно и бодро пел свои детские песни. Надя смотрела в бездонное небо и, тяжело вздыхая, просила-молила: “Вера, чаго ты памэрла, чаго, Вера... Дай хоць яки знак”. Но молчало небо, на котором наливались свинцовой тяжестью осенние облака.

ЗИМНИЕ КАРТИНКИ МОЕЙ РАННЕЙ ЮНОСТИ

Любимая моя пора года — время мокрого снега. Зимние воспоминания даже крепко связаны с ранней юностью, периодом неспешного взросления. Зима наступает в моём полесском городке неожиданно, как и в других местах моей родины. Серые, серые облака, серые дома, серые улицы, серые деревья, и вдруг утром всё оделось в снежную белизну.

Ах, зима... Это огонь в печи, из которой стреляют искорками и пламенными угольками горящие поленья, это голодные, со своей голодной песней сидящие на вилочке сарая птицы, это коньки-снегурки, которые то и дело слетают с подошвы сапог, это дремлющая бабушка, сидящая у грубки, это лыжи, сделанные из липы собственными руками, это ужасающий холод, который исходил от миниатюрного железного молоточка, выточенного на станке в школьной мастерской, которым я прибывал киноафиши по дороге в школу на столбах, заборах и на двух кинотумбах, что позволяло мне бесплатно посещать любой киносеанс в местном кинотеатре “Заря”. Это и новогодний бал-маскарад в родной школе. Беда ведь только — утренники для детей до седьмого класса. Пришлось, чтобы не узнали и чтобы попасть на бал старшекласников, смастерить с другом костюм медведя с огромной головой из картона, обшитого бархатом, в которой дышать было свободно минут пять. Рисуем. Пропускают. Прячусь каждые пять минут в домик под ёлку, снимаю маску и глотаю, глотаю воздух. Веселью нет конца. Кто же под маскою? Сюрприз! Снимаю маску. Ба... из младшего класса! Простили.

Ах, зима... Это полная, белая-белая луна над костёлом. Я с дядями и крестным идём на другой конец местечка. Для меня путь длинный. Скрипит снег под ногами. Скрип, кажется, долетает до неба. Ведём дядю Ваню к невесте. Забирать постель. Таков обычай. О чём-то громко судачат дядья. Я слышу только скрип сапог да не могу отвести глаз от огромного диска луны. Ведь я впервые в жизни выхожу в ночь.

Ох, зима... Первая зима без мамы... Метель завывает, стучат ставни, ветер надувает через щель между дверью и порогом мелкие снежинки, дед укрывает щель старым кожухом, который к утру слегка примерзает к полу и двери. К обледенелому колодцу опасно подходить — неровен час, вытаскивая тяжёлое, окантованное железом ведро, можно и куврыкнуться в колодец. Не дай, Господи! Крёстный упорно долбит ледяной нарост. Делает это один. Соседи не помогают. Все, что на улице, — вроде не твоё, чужое. Бабушка ругает деда. Зачем взял хлебную лопату. Разве же ею очищают двор от снега? Грех. На ней же хлеб в бляхах она садит в печку. Дед ищет кусок фанеры и мастерит лопату для снега. Сосед Борис Иванович грустит. Он рисует великолепные зимние пейзажи. Холодно. Да и другая работа кормит, кому нужны его пейзажи. Рисует на фанерных дощечках масляными красками цветы, делает этикетки, которые у него охотно покупают местечковцы — они возят весной семена этих самых цветов. Великолепная реклама. Чистишь порошком зубы в хате, над ведром. Бабушка сердает: “Покалил все обои!” Не будешь же на морозе чистить зубы холодной водой!

Ох, зима... Берегись болезней. Пришла неожиданно-негаданно вода, Горынь-река разлилась в конце февраля, а уходящий мороз на прощание сковал её тонким льдом. Каток прямо за воротами. Провалился я по пояс. Пока забежал в хату, околел основательно. К маю вызрела болезнь; может, холод, худоба, слабость помогли, сделали своё дело. Обиды на зиму не было. Друзья зачерпнут ладонью чистый снежок — и в рот, а самые смелые даже откусывают от снежка приличный кусок и жуют, как хлеб. И не болеют — везёт же! По дороге в школу жду одноклассницу, долго жду, замёрз совсем, а она не выходит — грипп. Пропускаю первый урок, но мне всё нипочём.

Ох, зима... Притихли куры, не несутся. Во сне бормочет иногда индюк в соседском сарае, словно напоминает, что он жив.

Ух, зима... На лыжах с горы, да ещё со взлётами с трамплинчика. Открывай рот, лови снежинки... без вкуса, тают на языке. И с языком фокус. Постарше сосед советует попробовать на язык холодный металл клямки. Коварный розыгрыш. Пробуем, не спрашивая, чего ради, и обалдеваем от боли.

Приклеился язык к холодному металлу. Шершавым кусочком кожи с языка и со слезами проклинали того, кто разыграл.

Одиноко стоит засыпанная по крышу кузня Герасима. Зимой он не поддерживает огонь в горне. Рождественский вечер в ожидании “Звезды” на 12 рожков, а утро начинается с рожка под окном и детских песенок в честь Рождества Христова. Сосед собирается на саних за сеном. Подвозит к школе. Конь его то и дело фыркает, отряхивает иней с ноздрей. Сам сосед с покрасневшего кончика носа утирает рукавицей каплю жидкости из носа.

Мой двоюродный брат майор присылает неожиданно из Челябинска коньки, как у чемпиона Косичкина. Таких нет ни у кого в районе. На речке надо опробовать. Одноклассники наблюдают с моста. Разгоняюсь... скольжу... и падаю. Они прямые, длинные. Цепляюсь за ледяные наросты. На мосту смех. А мне... так хотелось щегольнуть, особенно перед одной девочкой из класса, которая нравится больше остальных. Не получилось. Обиды нет... Зима всё спит.

Дымы из каминов видны больше под вечер. Топят все одновременно. К деду приходят его одногодки, и они говорят обо всём на свете, сравнивая эту зиму с зимами своей молодости. Засыпаешь в ожидании чуда. Завтра большой праздник — встреча Нового года по старому стилю. Ряженые “конями”, мы, утопая по колено в снегу, обходим хаты с поздравлениями, не ради свята, а больше ради первого заработка. Будут деньги. Пусть мелочь, но по два, три рубля каждому перепадёт. А это двадцать буханок ржаного хлеба.

Ух, зима... Спроси, хотелось бы воротиться туда, в далёкое детство, на пятьдесят лет назад... Отвечу — нет. Как говаривал Гёте. Почему прекрасное быстротечно? Потому что быстротечно прекрасно. Нынче астрологи, да и учёные физики утверждают, что существуют параллельные миры, что в далёком космосе может существовать близнец Земли. И там вроде всё повторяется. Пусть будет так. Поверим. Хочется, чтобы хорошее, доброе, человеческое, родное не исчезало вместе с нашим временем. Воспоминания укрепляют нежность в нашем сердце, как мечты противостоят пессимизму. Милое сердцу прошлое побуждает к творчеству. С первым снегом всегда идут чередой и воспоминания о зимах детства и юности, когда каждый день — открытие; обидно только, что не совсем ещё чувствуешь свою жизнь и связь с природой и родиной. Мало удивления и восторга, но зреет любознательность и жажда познавать окружающий мир. Важно пока только яблоко, и не интересуется жизнь как таковая самой яблони. Ещё не благодаришь родителей, Бога, природу за дарованную тебе жизнь — этот большой дар, а требуешь внимания и благодарности себе. И это первое высокомерие пройдёт, как проходит и долгая, долгая, такая особенная зима. Не исключено, что кого-то сладко будоражат воспоминания детства, когда цветёт сирень и ландыши, рыбалка, таинство грозы, а может, пора дождей и грибов, багряных клёнов и запахи бульбы из костра, а может, буйное цветение яблонь, вишен, черемухи, груш, слив, возможно... Я утешаю себя зимними воспоминаниями — в них больше одиночества, но больше и теплоты от домашнего очага и школьных друзей. Не говорю зиме прощай... Она в моём сердце всегда, а с ней и люди, местечко, время, мир, космос детства, из которого мы все и вырастаем.

Ах, зима... чудо мокрого снега, ядрёный воздух и яркая Луна в вечной тайне неба.

*Перевод с белорусского
Ирины Кочетковой*